

## НЕПРИМИРИМЫЕ НАРРАТИВЫ «О ДРУГОМ»: ИЗУЧЕНИЕ ПАМЯТИ О ВООРУЖЕННОМ КОНФЛИКТЕ В ЧЕЧНЕ<sup>1</sup>

Евгения Горюшина

Федеральный исследовательский центр Южный научный центр РАН

ORCID: 0000-0003-1800-9890

<https://doi.org/10.36169/2227-6068.2020.01.00022>

**Аннотация.** *Внутренний вооруженный конфликт в Чечне до сих пор остается одним из самых политизированных и, следовательно, труднодоступных для изучения памяти о нем. Статья основана на обобщении собранных автором 38 интервью с очевидцами и участниками двух этапов боевых действий 1994–1996 гг. и 1999–2009 гг. за последние три года полевых исследований в Ростовской и Московской областях, Чеченской Республике и соседних регионах Кавказа. Из этических соображений сохраняется анонимность всех респондентов, по согласованию с респондентами публикуются только незначительные отрывки интервью, характеризующие ключевые моменты воспоминаний о конфликте. Также в статье предложена обширная историография англоязычных и русскоязычных исследований по взаимосвязи памяти и конфликта, в том числе приводятся наиболее значимые работы по изучению чеченского конфликта.*

*Автор статьи допускает, что рассказанная история способна примирить враждующие нарративы, но исследование демонстрирует обратное — сохранение мифологизированных интерпретаций прошлого, которые приводят к злоупотреблениям памятью и конструированию «иного», даже внешнего образа врага в войне. В статье утверждается, что память о чеченском внутреннем вооруженном конфликте тесным образом переплетена с памятью о Великой Отечественной войне, которая оказалась востребована политической элитой в начале 2000-х гг. В этот период в России начинает формироваться политика победы, ставшей инструментом изменения курса внешней политики, в результате которой произошел переход от локальных конфликтов к более масштабным войнам за пределами страны.*

**Ключевые слова:** *Чечня, конфликт, историческая память, интервью, политика победы*

Исследования в области изучения конфликта и памяти получили новое развитие в начале второй декады XXI века. Прежде всего, это связано с современной международной обстановкой, повлекшей за собой отказ от традиционной войны как

---

<sup>1</sup> Статья выполнена в рамках проекта «Этносоциальные и политико-правовые институты и процессы на Юге России» (00-20-19) ЮНЦ РАН в 2020 г.

способа борьбы за политическое превосходство. Тем не менее, в сохраняющихся конфликтах, перешедших в состояние «глубоко спящих», память служит инструментом воссоздания старого или конструирования нового прошлого (Sachs 2012: 11). В ситуации, при которой в конфронтирующих обществах все еще доминируют мифологизированные интерпретации исторического прошлого, могут случаться злоупотребления памятью. Нередко происходит ее замалчивание, в результате чего появляются «белые пятна» и целые тома забываемой истории. Начало перестройки потребовало восполнения образовавшихся лакун в прошлом с надеждой на то, что рассказанная история поможет примирить враждующие нарративы (Шурмина 2019). Однако в действительности же культура памяти шагнула от космополитизма к антагонизму, тем самым инициировав войны памяти вслед за распадом СССР.

Постепенно история о прошлом превратилась в политику памяти, и пустые страницы стали заполняться новым текстом, сдобренным политическими конструктами новой России. Распад СССР привел к трансформации пространства исторической памяти, создав новые возможности для уже забытых событий, воскресив героев и очертив контуры нового или хорошо известного врага. Память о вооруженном конфликте в Чечне 1994–1996 гг. и 1999–2009<sup>1</sup> гг. не стала исключением в череде постсоветских конфликтов, заняв центральное место среди непримиримых нарративов, что представляет актуальную проблему для изучения в междисциплинарном срезе политической антропологии, истории, социальной психологии и этнографии.

Следует уточнить, что современные чеченские историки отвергают наименование вооруженных действий 1994–1996 гг. и 1999–2009 гг. чеченскими кампаниями или войнами. Поэтому, исходя из «Наставления по международному гуманитарному праву для Вооруженных Сил Российской Федерации» (утверждено Министром обороны РФ 08.08.2001), в данной статье применяется термин «чеченский внутренний вооруженный конфликт», который делится на два этапа вооруженных действий соответственно.

Ключевым фактором, осложняющим всестороннее исследование памяти о чеченском конфликте, стал экспоненциальный рост медиа-источников (с 1994 г. и по настоящее время), содержащих в большинстве случаев информацию публицистического характера и зачастую противоречащие друг другу непроверенные данные.

Дополнительную сложность рассмотрения памяти о событиях в Чечне представляет дефицит крупных полевых исследований, проведенных непосредственно в республике (либо вне республики) с участниками или очевидцами событий тех лет. Исключением стала работа известного историка и социального антрополога, академика РАН В. А. Тишкова «Общество в вооруженном конфликте (этнография чеченской войны)» (Tishkov 2001: 13), изданная в 2001 г., то есть за восемь лет до снятия режима контртеррористической операции (КТО) в республике.

---

<sup>1</sup> В данной статье завершением вооруженных действий в Чечне считается дата отмены режима контртеррористической операции (КТО) на территории Северо-Кавказского региона – 16 апреля 2009 г.

На основе свыше 100 интервью с участниками событий (политическими деятелями, чеченскими боевиками, беженцами, представителями всех — по заверению автора — всех слоев чеченского общества) была создана целостная картина сформировавшейся тогда идеологии сепаратизма, антропологии насилия, заложничества и торговли людьми в регионе. Тишков умело сводит образ «воюющего чеченца» эпохи Б. Н. Ельцина вовсе не к примордиализму, а к социальному конструкту, образовавшемуся на основе исключительно войны постсоветского времени.

С точки зрения Тишкова, именно военный конфликт породил *чеченство* как первичную социально-психологическую характеристику, базирующуюся на ряде подкрепляющих ее элементов: «а) националистическом нарциссизме, б) комплексе жертвенности (виктимизации) и с) мессианской идее “гробовщиков империи”, “освободителей Кавказа” и “авангарда исламизма”» (Tishkov 2008: 75). Вступив в полемику с известным журналистом Томасом де Ваалом, написавшим одну из серьезных работ по событиям в Чечне, Тишков полностью отрицает его комментарий относительно значимости роли «жизненной памяти» о событиях 1944 г. для чеченцев. Напротив, автор «Общества в вооруженном конфликте...» демонстрирует, что инструментами изменения и даже в некоторой степени нагнетания идентичности в среде чеченцев конца 1980-х–начала 1990-х гг. стали повседневные призывы о том, что чеченец — «представитель древней и уникальной цивилизации, а ныне депортированный и угнетаемый, должен продолжить великое дело шейха Мансура и имама Шамиля» (Tishkov 2008: 278). Тем самым Тишков наглядно показывает механизм создания *инаковости* чеченцев как социума перед непосредственным началом масштабных боевых действий в 1994 г. В своем исследовании он настаивает на том, что чеченцев характеризовали вовсе не отличительные от *других* признаки, а, напротив, игнорируемые многими специалистами *общие* признаки схожести.

Однако можно оспорить тезис Тишкова о малозначительности «жизненной памяти» в контексте чеченского конфликта. Индивидуальная память рассматривает однородную «историю» как совокупность фрагментов и противоречивых жизненных опытов. «Воспоминания столь же ограничены и пристрастны, как и перспективы восприятия или оценки воспринимаемого» (Assman 2019: 218). Немецкий историк и культуролог Алейда Ассман демонстрирует это на гендерных различиях в отношении к пережитому в годы Второй мировой войны. С ее точки зрения, на индивидуальную память оказывает непосредственное влияние поколенческая память. Иными словами, «эксплицитные субъективные воспоминания встроены в имплицитную поколенческую память» (Assman 2019: 218).

Внутренний вооруженный конфликт в Чечне не только повлек за собой невозможность формирования однородной истории, но создал многочисленные жизненные опыты и привел к тому, что чеченский социум превратился в разорванное войной общество (Tishkov 2004: 17). В качестве одной из причин подобной трансформации Тишков указывает крах конструирования новой чеченской идентичности на основе радикального ислама. Еще одной немаловажной причиной выступает то, что «слишком много чеченцев оказалось подвержено националистической идеологии, к которой добавилась романтика и логика

вооруженной борьбы, а затем и “великой победы”» (Tishkov 2008: 79). Впрочем, именно гонка за «великой победой» станет ключевым фактором формирования *другой* политики памяти в России на рубеже XX-XXI вв., на которую значительное влияние оказал внутренний вооруженный конфликт в Чечне. Об этом речь пойдет далее в статье.

Подобные споры о гибкости инструментов создания и (или) присваивания *инаковости* чеченцам периода вооруженных действий были не единичными. Профессор университета Брадфорда и член Валдайского клуба Джон Рассел искал ответ на свой же вопрос: «...насколько далеко зашедшая политика демонизации чеченцев, которая помогла Ельцину и Путину развязать соответствующие войны, стала главным препятствием на пути к миру в Чечне?» (Russel 2005: 101)

Необходимость формирования образа *других* чеченцев как воплощения совокупности переплетенных культурных, этнических, гендерных, социальных и религиозных стереотипов соответствовала запросам политической элиты того времени. В течение последних трех десятилетий большинство СМИ в значительной степени проблематизировали взаимоотношения между русскими и чеченцами, буквально патологизировав чеченскую культуру посредством перманентной войны и ее непреодолимых последствий.

Вопреки тому, что теория *инаковости* в этническом контексте постоянно перерабатывалась и дополнялась расширенным инструментарием на протяжении практически всей «эпохи крайностей» (начиная с Первой мировой войны), сегодня она характеризуется широкомасштабным использованием и злоупотреблением *образом Другого* (Jensen 2011: 64).

## Историография исследования

Несмотря на обширный массив публицистических материалов по воспоминаниям о вооруженных действиях в Чечне, последние три десятилетия охарактеризовались внушительным количеством научных работ по чеченскому конфликту в целом, но крайне малым объемом исследований по памяти и ее специфике.

Прежде всего следует обозначить те работы, где описана взаимосвязь памяти и конфликта. Обнаруживается, что этому аспекту уделялось особое внимание в трудах иностранных авторов, которые за окончанием холодной войны видели формирование нового миропорядка. Однако мало кто из них ожидал, что новый миропорядок повлечет за собой стремительное распространение националистических взглядов и убеждений о суверенитете, а миру будут угрожать «жестокое этнические, религиозные, социальные, культурные или языковые конфликты», о чем писал в 1992 г. Б. Бутрос-Гали, шестой Генсек Организации Объединенных Наций (Boutros-Ghali 1992: 203). Как отмечают ученые Эд Кернс и Мичеал Д. Роу, что далеко не все эти конфликты по своей природе являются новыми: «Некоторые из них просто не были отражены посредством СМИ во время холодной войны, и поэтому мы в западном мире оставались в неведении об их существовании. Одновременно с окончанием холодной

войны возникали не только новые конфликты, но и обострялись другие, которые десятилетиями находились в состоянии “бездействия”» (Cairns, Roe 2003: 19).

Профессоры Кернс и Роу обращаются к социально-политическим наукам с целью описания роли памяти в процессе формирования или воссоздания многочисленных конфликтов, угрожающих глобальному миру в XXI веке. Используя не только теоретические, но и эмпирические методы в исследовании, авторы приходят к важному выводу — именно область знаний о связи между памятью и конфликтами является одной из самых пренебрегаемых и малоразвитых в современной науке. Тот же тезис подтверждаем исследованием теоретического характера Патрика Девайн-Райт — профессора общественной географии (географии человека). Он полагает, что последние две декады в общественно-гуманитарных науках характеризуются небывалым интересом к истории и памяти (Devine-Wright 2003: 11). Параллельно с этим возросло осознание взаимосвязи между процессами запоминания и проблемами этнических конфликтов, примирения и их урегулирования. Однако только недавно ученые стали предпринимать более или менее серьезные попытки формирования социальной концепции памяти о конфликтах.

Поэтому исследование потребовало детального рассмотрения десятков научных работ по взаимосвязи памяти и конфликтов. Анализ литературных источников позволяет обозначить несколько ключевых направлений в данной области:

1. Непосредственно те исследования, которые подводят прямо или косвенно к теоретико-методологическим основам конфликтов на основе рассмотрения прошлого войн и вооруженных действий. К ним относятся все еще не потерявшая актуальность работа П. Фассела о Первой мировой войне (Fussel 1975), совместная публикация американских исследователей Г. Шумана и Ж. Скотт (Schuman, Scott 1989), практики забвения Дж. К. Олик и Дж. Роббинса (Olick, Robbins 1998), Дж. В. Верча (Wertsch et al. 2002) и особенно его анализ «белых пятен» коллективной памяти в России (Wertsch 2008), методологическая критика изучения коллективной памяти В. Канштайнера (Kansteiner 2002), война между памятью и историей Дж. М. Уинтера (Winter 2006), впервые изданное в 1994 году междисциплинарное исследование А. Ирвин-Зарецки (Irwin-Zarecka 2017), взаимообусловленность войн и коллективной памяти Д. Паеса и Дж. Х. Лю (Paetz, Liu 2011) (Liu 2009), конфликт и память Б. Вагонера и И. Бреско (Wagoner, Bresco 2016), отражение памяти о войне в Югославии в современной политике Сербии С. Обрадович (Obradović 2016), и др. Отдельно следует отметить отечественные работы об эволюции исторической памяти о Второй мировой войне в России А. С. Сенявского и Е.С. Сенявской (Senjavskij, Senjavskaja 2009), механизмах воссоздания прошлого В.А. Ачкасова (Achkasov 2013) и А.В. Святославского (Svjatoslavskij 2013), направлениях исследований исторической памяти Е.А. Ростовцева и Д. А. Сосницкого (Rostovcev,

Sosnickij 2014), роли исторической памяти в этноконфессиональных конфликтах России С. Д. Савина и М. С. Касабуцкой (Savin, Kasabutskaya 2019) и др.

2. Коммеморация как процесс преодоления трудного прошлого войны. В этом направлении следует учесть и те довольно редкие исследования, в которых описываются коммеморативные практики, способствующие запоминанию трудного прошлого, а в некоторых случаях и вовсе – забвению прошлого о вооруженном конфликте, либо его изменении. Одними из фундаментальных работ стали исследования, пересмотревшие историю США Дж. И. Боднара (Bodnar 1991) и Австралии Л. Спиллмана (Spillman 1997), а так же работы, основанные на реконструкции структуры образа военного конфликта Л.А. Бургановой и П.А. Корнилова (Burganova, Kornilov 2003), осветившие мемориальную версию Афганской войны Н.Ю. Даниловой (Danilova 2005) и коллективную память об этой войне А.В. Стрельниковой (Strel'nikova 2011), ритуализацию и коммеморацию в условиях современной России Т. Келлнера (Köllner 2013), постсоветское мемориальное пространство М. Бернарда и Я. Кубика (Bernhard, Kubik 2016), В.А. Шнирельмана (Shnirelman 2006) (Shnirelman 2016), политическое в коммеморации в коллективном исследовании Тимоти Дж. Эшпланта (Ashplant et al. 2017). Наконец, выделяется пласт исследований, посвященных воссозданию прошлого о Второй мировой войне (вернее, о Великой Отечественной войне) в российском мемориальном пространстве при В.В. Путине. Здесь следует отметить работы британского профессора С. Хатчингса в соавторстве с Н. Рулевой (Hutchings, Rulyova 2008) и особенно – российского специалиста в области истории СССР Г.А. Бордюгова (Bordjugov 2015), С. Бернштейна (Bernstein 2016).

3. Исследования, затрагивающие историческую память о политических трансформациях и вооруженных действиях в Чечне с большим временным интервалом, начиная с депортации чеченцев и ингушей с территории Чечено-Ингушской АССР в 1944 г. В некоторых работах актуализируются проблемы отражения Кавказской войны в исторической памяти современного Кавказа, а в отдельных – исследуются последствия постсоветского вооруженного конфликта для его участников и очевидцев. К данному направлению исследований относятся работы посла Хорватии в США П. Шимуновича (Simunovic 1998), американского профессора Х. Рам (Ram 1999), Б. Г. Уильямса (Williams 2000), этнография чеченской войны В. А. Тишкова (Tishkov 2001), М. Гаммера (Gammer 2002), коллективная статья А.Л. Иванова и др. (Ivanov et al. 2003), С. Корнелла (Cornell 2003), Е. Сокирянской (Sokirianskaia 2007), американского профессора Ф. Баннер (Banner 2006), чеченского историка А.Д. Осмаева (Osmaev 2010), канадского профессора А. Кампаны (Campana 2012), Н.Ю. Даниловой (Danilova

2014), обширная англоязычная историография вооруженного конфликта в Чечне Н. Н. Малишевского (Malishevskij 2015), З.В. Сикевича (Sikevich 2017) и др.

В большинстве работ исследовательский фокус смещен в сторону не самих конфликтов, а выявлению атрибутов социально-психологической динамики, сопровождающей все стадии конфликта. Именно социально-психологическая динамика (особенно эмоции, идентичность — будь то формирующаяся с началом или трансформирующаяся во время конфликта, политические установки и настроения) и коллективная память чрезвычайно важны при изучении памяти и конфликта как таковых. На этом настаивают сразу несколько исследователей, в том числе профессор политики и международных отношений в Университете Маккуори (Австралия) С. Лосон и исследователь из Университета Восточной Англии (Великобритания) С. Таннака. Несмотря на обилие научных работ, в которых исследуется столкновение военного прошлого и настоящего на примере региона Восточной Азии, в совместной работе Лосон и Таннака «Противостояние прошлому, нормализация настоящего: проблема военных воспоминаний Японии» (*Confronting the Past, normalizing the Present: the problem of Japan's War Memories*) актуализируется проблема «столкновения с уродливым прошлым» (Lawson, Таннака 2011: 407). По мнению авторов, подобная встреча является неотъемлемым условием не только достижения определенной справедливости для жертв войн и конфликтов, но и преодоления тяжести исторической ответственности в результате поражения или победы. Иногда это также является необходимым условием для нормализации отношений между государствами (в случае с Чеченской Республикой Ичкерия, просуществовавшей с 1991 по 2000 гг., — государственными образованиями), общая история которых может содержать события, где одна сторона считает, что другая подверглась жестокому обращению. Авторы подчеркивают, что апологетика и бесконечные отрицания почти наверняка сохранятся и в будущем, поскольку на внутригосударственном уровне до сих пор продолжаются споры о военных воспоминаниях и их интерпретации. При этом политическая элита стремится к тому, чтобы страна [Япония] играла более заметную роль в качестве значимого участника международных отношений.

### **Память и «политика победы» в современной России**

Идентичные процессы неизбежного столкновения с «уродливым прошлым» при возрастающей роли на международной арене характерны и для современной России, в которой коллективная память о вооруженном конфликте в Чечне все еще остается одним из самых неоднозначно интерпретируемых и политизированных сегментов исторического прошлого страны после распада СССР.

11 декабря 1994 года был подписан Борисом Ельциным Указ № 2169 «О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики». В этот же день подразделения Объединенной группировки войск (ОГВ), состоявшие из частей Министерства обороны и Внутренних войск МВД, вступили на территорию Чечни.

Спустя 25 лет после начала конфликта чеченские события 1994–1996 гг. и 1999–2009 гг. по-прежнему вызывают интерес у исследователей и экспертов, но уже не приводят к тому ажиотажу, который следовал за отменой режима контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона в апреле 2009 года. Это обусловлено в том числе и тем, что незадолго до официального окончания конфликта произошла неизбежная трансформация исторической памяти в России, напрямую связанная с иным восприятием памяти о Великой Отечественной войне.

Историки Д. А. Андреев и Г. А. Бордюгов подчеркивают символизм двух инаугураций Владимира Путина, состоявшихся накануне 9 мая:

«Первая инаугурация 2000 года проходила в обстановке откровенного отождествления новоизбранного президента как бы с самим духом Победы. К этому времени уже фактически завершилась собственно войсковая часть КТО в Чечне, и эта локальная, но нелегкая и чрезвычайно значимая для РФ победа выглядела как бы отблеском той, главной Победы 1945-го» (Bordjugov 2015: 47).

Андреев и Бордюгов настаивают на том, что именно «память о Великой Отечественной войне была остро востребована в первые месяцы президентства Путина прежде всего в ситуации второй чеченской войны» (Bordjugov 2015: 47). Впрочем, ситуация вскоре изменилась, благодаря чему современная политическая повестка оказалась вплетенной в историческую память. Так, в феврале 2003 г., на праздновании 60-летия Сталинградской битвы, Путин сравнил террористов с нацистами 30–40-х гг. XX в., сделав акцент на последующих словах:

«Россия как никакая другая страна знает, что такое война, знает и цену мира, и потому мы уважаем право народов на суверенитет, независимость и свободное развитие» (Vesti.Ru 2003).

Такое сравнение необходимо было для того, чтобы, с одной стороны, приглушить «свойственные европейскому общественному мнению двойные стандарты в отношении борьбы с терроризмом на Северном Кавказе» (Bordjugov 2015: 47), а с другой — призвать сплотиться против общего врага, как это было во время Второй мировой войны.

Уподобление «террористов» и «нацистов» прозвучало спустя почти два года после 11 сентября 2001 г., когда борьба с терроризмом приобрела особое значение в повестке многих государств на мировой политической арене. Трагедия 11 сентября фактически сняла «международные претензии к России по поводу Чечни» (Bordjugov 2015: 47) и автоматически встроила Россию в международную антитеррористическую коалицию под лидерством США. Дж. Рассел также настаивает на подтверждении тезиса: чеченский конфликт не только стал самым кровопролитным со времен Второй мировой войны, а после событий 11 сентября 2001 г. еще и оказался линией фронта России в международной «войне с терроризмом» (Russel 2005: 108). С точки зрения Бордюгова и Андреева, в данном случае усматривается прямая взаимосвязь между Второй мировой и войной с терроризмом, где Победа 1945 г. фактически явилась



масштабной репетицией перед совместными союзническими контртеррористическими операциями (Bordjugov 2015: 49).

На этом фоне «пространство памяти оказалось подмененным одной из своих функций — актуализацией прошлого в контексте событий текущего момента» (Bordjugov 2015: 47). К тому же, результаты «первой Чечни» в виде подписания Хасавюртовских соглашений от 31 августа 1996 г. («Принципы определения основ взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой»<sup>1</sup>) впоследствии были интерпретированы как поражение Москвы в этом конфликте. Соглашения привели к прекращению боевых действий, выводу федеральных сил и отложенному решению вопроса о статусе территории до 31 декабря 2001 г. Тогда федеральный центр фактически соглашался с полной утратой контроля над республикой, передав власть боевикам.

Поэтому победа во втором этапе чеченского конфликта была необходима новой российской власти в XXI в. для возвращения духа Победы после 1945 г. Процессы актуализации прошлого в контексте текущего момента не были исключительными для России, а оказались схожими с теми, что происходили в США, где Джордж Буш-младший «отправился на Дикий Запад в поисках общего врага — Усамы Бен Ладена» (Engelhardt 2007: 142). Таким образом, формировалась другая *политика победы*, буквально зародившаяся в рамках глобальной войны с терроризмом наряду с вторжением США и их союзников в Ирак в 2003 г.

*Политика победы* претерпевала изменения все последующие десятилетия, вовлекая международных игроков в гонку за пальмой первенства, одновременно затмевая собой прошлые военные ошибки и поражения. И чем дальше от начала вооруженных действий в Чечне в 1994 г., тем стремительнее забывался бесславный зимний штурм Грозного (Goryushina 2019: 240). К началу второго этапа внутреннего вооруженного конфликта в Чечне *политика победы* окончательно подвела итог вооруженным действиям на Северном Кавказе к тому, что военный успех и слава превратились не только в неотъемлемую часть политической стабильности государства, но и в ресурс непоколебимости авторитета его лидера (Wood 2011: 184), необходимого для последующей борьбы с внутренней оппозицией.

Следует провести четкую линию между отдельно взятой победой и *политикой победы*. Победоносная битва представляет собой мгновенное фактическое событие, ограниченное в пространстве и времени, достигаемое с помощью физической, технической и экономической силы (Hölscher 2006:29). Победа предполагает, что в результате боевых действий наносится урон военной мощи и социально-экономической инфраструктуре противоборствующей стороны. Политическая власть, напротив, отличается созданием долгосрочной концепции, основанной на социально-политических и религиозно-идеологических институтах. Для того, чтобы военные

---

<sup>1</sup> Определение Конституционного Суда РФ от 26.12.1996 п 103-о «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса группы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания о соответствии Конституции Российской Федерации «Принципов определения основ взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой» и совместного заявления, подписанных 31 августа 1996 года в г. Хасавюрте».

победы оказались не просто краткосрочными успехами, а могли послужить основой для конструирования общегосударственного культурного поля, они должны быть институционализированы, закреплены в массовом сознании, и тем самым вшиты в политическую власть. В свою очередь, это достижимо с помощью выполнения двух условий:

- 1) создание устойчивых политических институтов, способных обеспечить функционирование власти,
- 2) формирование политики памяти, выражающейся в создании символов (победы) и коммеморативных практик, призванных концептуально закрепить не столько память о самой войне, сколько превосходство и господство победителя.

К моменту снятия КТО в Чечне в 2009 г. уже окрепшая *политика победы* оказалась способной придать импульс российской внешней политике, которая начала постепенно отражать «растущий баланс между уязвимостью и возможностями» (Monaghan 2008: 721). По мнению доктора Эндрю Монагана из Оксфорда, большую часть второго срока президентства Путина (2004–2008 гг.) Россия находилась в оборонительной позиции. Несмотря на поступательный рост экономики, российская дипломатия была все еще внутриориентированной с доминированием чувства незащищенности в самой Москве. С одной стороны, такая позиция позволила объединить и мобилизовать население страны, и открыто не противостоять Западу. С другой — сложившаяся ситуация предотвратила внешнее вмешательство во внутренние дела России, что было крайне нежелательным для Москвы после вооруженного конфликта в Южной Осетии 2008 г. и снятия режима КТО в Чеченской Республике 16 апреля 2009 г. Именно в тот период международная ситуация достигла пиковой точки, в которой Россия получила возможность претендовать на роль глобального игрока.

Также этот момент совпал с интенцией России переосмыслить итоги другой не менее важной для нее конфронтации – холодной войны. Из чего следует, что период локальных войн на Кавказе должен был закончиться, а *политика победы* – стать отражением военных успехов России за пределами ее государственных границ (вооруженный конфликт на востоке Украины с 2014 г., участие в боевых действиях на территории Сирии с 2015 г.). Однако каким образом на этом фоне изменилась память о вооруженных действиях в Чечне?

### **Память о конфликте в Чечне: 25 лет спустя**

Вероятно, что по прошествии времени память о вооруженных действиях в Чечне продолжает играть дезинтегрирующую роль в обществе, которая только усиливает обоюдную инаковость образа чеченцев и русских.

Это также актуально в силу того, что до сих пор активно обсуждаются разные интерпретации вооруженных действий в Чечне и их последствий. Равно как и в Чечне, так и за ее пределами появились свои герои и жертвы, которые отстаивают собственные представления не только о военной повседневности и причинах

конфликта, но и об истории в целом. Поэтому статья апеллирует к анализу и обобщению 38 аудиозаписей глубинных интервью с респондентами-очевидцами и/или участниками вооруженных действий и КТО на территории Чеченской Республики (1994–1996; 1999–2009; непрезентативная выборка), собранных автором статьи в Москве и Московской области, Ростов-на-Дону и Ростовской области, Чеченской Республике и соседних регионах с 2017 г. по 2020 г. Большинство респондентов являются чеченцами по национальности (27 человек). Важным условием записи интервью выступило сохранение анонимности респондентов. Желание раскрыть свои персональные данные во время диктофонной записи выразило малое количество опрошенных — 3 человека.

Целью записи интервью стало проведение неформальной беседы с открытыми вопросами, где интервьюер способствовал цельному нарративу собеседника с возможностью проявления его чувств. Важным в такой процедуре остается получение нарратива без значительного вмешательства со стороны интервьюера. Отталкиваясь от ряда обязательных вопросов относительно места и даты рождения, возраста (все респонденты старше 40 лет), в котором респонденту пришлось встретиться с проявлениями военных действий (либо их избежать, если речь шла о тех, кому удалось покинуть место конфликта до активной вооруженной фазы), маркерными стали вопросы о переменах в отношении к противоборствующей стороне до войны и после, отношении к довоенному и новому Грозному, образу другого и (или) врага.

Как показывают все собранные интервью в рамках данного исследования, память о вооруженных действиях в Чечне предпочтительнее подавлять и (или) замалчивать. Этим обусловлены частые отказы от записи интервью (особенно на диктофон) на территории самой Чеченской Республики. Официальная политика памяти, связанная с конфликтом, практически полностью исключает воспоминания, идущие вразрез общественно-политической повестке дня. Своими воспоминаниями чаще делились те, кто проживает за пределами Чечни, не связан с какими-либо властными структурами ни на федеральном, на республиканском уровнях и потребовал сохранить анонимность и не распространять аудиозаписи в третьи руки. Поэтому изучение воспоминаний о чеченском конфликте представляется крайне чувствительным научным вопросом, требующим аккуратного обращения не только со сведениями, отличающимися от официальной позиции, но и с индивидуальной памятью респондентов.

По этой причине процесс сбора интервью был сопряжен со значительными трудностями вследствие доминирования официального дискурса в оценках вооруженного конфликта, которые проявлялись уже на стадии предварительного согласования записи с респондентами. Среди опрошенных по событиям в Чечне подавляющее большинство — мужчины (35 человек). Интервью удалось взять только у трех женщин, ныне проживающих за пределами территории Чеченской Республики. Очевидно, что в кавказских обществах «мужчины располагают большой привилегией рассказывать свою историю» (Assman 2019: 47).

Одна из респондентов, уроженка г. Грозного, покинула столицу вместе со своей семьей до начала фазы открытых вооруженных столкновений в 1994 г. и более

никогда не возвращалась на свою родину. Она мотивировала это тем, что у нее и ее семьи отсутствует желание возвращаться туда, откуда она была изгнана своими же «соседями». Женщина утверждает, что не стремится увидеть новый Грозный, так как теперь чеченская столица — картинка, лишённая прежнего духа. При этом у нее сохраняется неприязнь к тем, кто «спустился с гор и потребовал выкупить за бесценок <...> дом в Грозном»<sup>1</sup>. С утратой своего дома она потеряла землю и связь с ней.

Отдельные респонденты в своих воспоминаниях затрагивали вопросы утраченного жилья в годы чеченского конфликта. Данный вопрос особенно актуален для русского населения, ушедшего с территории Чечни после 1996 г. (Хасавюртовских соглашений от 31 августа 1996 г.). В открытых источниках средств массовой информации неоднократно поднимался этот вопрос: «По данным Министерства экономического развития из 250 тысяч русских, покинувших Чечню, за государственной помощью обратилось около 170 тысяч человек. Из них 30 тысяч семей обратились в Федеральную миграционную службу и представили документы на получение компенсации, то есть они подтвердили факт владения недвижимостью на территории республики» (данные на 2013 г.) (Bol'shoj Kavkaz 2013).

Впрочем, если внимательно рассмотреть процесс выплат компенсаций за утраченное в ходе военных действий жилье и имущество, становится понятно, что он не решен в полной мере до сих пор.

«Выплаты начались в 2003 г. В 2003–2004 годах компенсацию получили 39 тыс. жителей республики, им было выделено 13,2 млрд. рублей. В 2005 году выплаты прекратились в связи с тем, что выделенные на это средства “были исчерпаны”. В 2006 г. республике из федерального центра было выделено 1,3 млрд. рублей, и власти Чечни объявили, что процесс выплат компенсаций завершается» (Izvestija 2008).

Председатель петербургского Общества вынужденных переселенцев из Чеченской республики Валентина Блудкина рассказывает по этому поводу в открытом интервью: «Мы бежали как могли. Нам даже чеченцы помогали. Я бежала прямо в халате» (Rosbalt 2014). Времени на продажу квартир и движимого имущества не было. «Говорили тогда, что если кто-то продаст свой дом, к нему могли прийти и убить <...> мы жили с русскими по соседству, в один день их просто не оказалось...<...> не знаю, уехали или они, или куда еще делись...сразу дом был занят другими»<sup>2</sup>, — вспоминает одна из респондентов, ныне проживающих за пределами Чечни.

Блудкина в открыто опубликованном интервью описывает свою борьбу за денежную компенсацию по утрате жилья:

«В декабре 1997 года нам стали выдавать денежную компенсацию за оставленное в Чечне жилье, до 120 тысяч на семью. Люди хотели хоть что-то получить от государства. О том, что после получения компенсации нас лишат

---

<sup>1</sup> Из интервью с респондентом N. Место проведения: г. Ростов-на-Дону. Продолжительность 101 минута. Запись: 27 ноября 2019 г. Хранится в личном архиве автора.

<sup>2</sup> Из интервью с респондентом N. Место проведения: г. Ростов-на-Дону. Продолжительность 94 минут. Запись: 23 декабря 2019 г. Хранится в личном архиве.

статуса, тогда никто не говорил. Скорее, скорее, вдруг больше давать не будут!...» (Rosbalt 2014).

Дефолт 1998 г. обесценил денежные выплаты, а вскоре начался второй этап чеченского конфликта.

Вооруженный конфликт в Чечне стал для постсоветской России новым рубежом, где память о войне не только разделила общество на довоенное и послевоенное (Maercker et al. 2009: 250), но и оставила многих жителей (вне зависимости от национальности) без возможности вернуться в свое жилье в Чечне. Тем самым придав памяти о конфликте социально значимый и острый характер. Постсоветская Россия сталкивалась с подобными сложностями впервые, так и не определив до конца в статусе тех, кто был вынужден спешно покинуть свой дом. С юридической точки зрения, вооруженные действия в Чечне периода первой декады XXI в. — проводимая Россией КТО на собственной территории, т.е., внутренний вооруженный конфликт, повлекший за собой присвоение тысячам людей статуса «вынужденных переселенцев из Чеченской республики, покинувших ее безвозвратно» (Forum pereselencheskih organizacij 2019). Такой статус позволял переселенцам получить денежную компенсацию или ожидать принятия решения на законодательном уровне о предоставлении жилья.

Другой не менее важной социальной проблемой памяти о конфликте стало похищение людей с 1999 г. как источнике дохода. Отдельные чеченские криминальные структуры безнаказанно осуществляли масштабный бизнес, основанный на массовых похищениях людей (преимущественно русских и иностранцев) с целью выкупа или дальнейшей продажи. По этому поводу один из чеченцев-респондентов рассказывал о том, как его самого похитили и случайно обнаружили:

«Я служил в милиции тогда...они [похитители] знали, кто я и кто моя семья, кто мои родственники...<...> меня бросили связанным в мешке, и если бы не пастух, который пас коров у пруда, я бы и остался в этом мешке...дед-пастух спас»<sup>1</sup>.

Респондент опускает подробности самого похищения, но указывает также на то, что организаторам его похищения было известно, из какой он семьи, кто был занят в какой сфере.

Интервьюером отдельно задавались вопросы о наименовании событий тех лет, необходимости установления мемориалов, сохранении нарративной памяти о конфликте. Зачастую ответы респондентов настолько разнились, что не представляется возможным описать однозначное отношение к конфликту в Чечне. Однако можно выявить характерные черты для всех записанных воспоминаний. Никто из респондентов-чеченцев не согласился с наименованием «чеченская кампания» (с этим наименованием не согласились и те, кто воевал в рядах российских войск в 1994–1996 гг.), а, напротив, каждый утверждал, что для них это была именно война;

---

<sup>1</sup> Из интервью с респондентом N. Место проведения: Чеченская Республика. Продолжительность 64 минуты. Запись: 2 ноября 2018 г. Хранится в личном архиве автора.

каждый высказался за сохранение памяти о конфликте, но против установления памятников участникам чеченских событий.

Причем в большинстве устных свидетельств ключевым (символическим) описываемым событием стал зимний штурм чеченской столицы в 1994 г., а последующие военные действия, растянувшиеся на десятилетие с 1999 г. по 2009 г. многими воспринимаются как антипод «быстрой победоносной войны» (*Kommersant Vlast'* 1999), в нередких случаях — все еще продолжающейся. Некоторые записанные устные свидетельства демонстрируют уверенность респондентов в том, что чеченский конфликт имеет куда более глубокие корни, и столица все еще стремится подчинить себе окраину Российской Империи (*Severnyj Kavkaz v sostave Rossijskoj imperii* 2007: 9). Отчасти это реактуализирует связь вооруженного конфликта в Чечне 1990-х–начала 2000-х гг. с исторической памятью о Кавказской войне. Однако данный маркерный вопрос об отношении к самому длительному военному конфликту с участием Российской империи не обнаруживает явных подтверждений в большинстве из 38 собранных интервью. В качестве наиболее взаимосвязанных исторических событий респонденты упоминали депортацию чеченцев и ингушей 1944 г. (операция «Чечевица», чеч. *Áрдáхар*), распад СССР 1991 г., и как одно из последствий распада – осетино-ингушский конфликт 1992 г., который с точки зрения отдельных респондентов-чеченцев оказался провокацией для лидера движения 1990-х гг. за отделение Чечни от России и впоследствии первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Дж. Дудаева (1991–1996 гг.) с целью развязывания крупномасштабной войны еще в начале 1990-х гг. (*Lenta.Ru* 2015)

Подобная увязка исторических событий в памяти респондентов отражает ключевое условие сохранения воспоминаний внутри чеченского общества. Память «служит важнейшим оплотом для этнического сообщества, залогом будущего существования и собственной идентичности» (*Assman* 2019: 188). При этом стигматизация этнического коллектива чеченцев и ингушей в 1944 г. стала центральным элементом коллективной памяти об историческом прошлом в контексте недавних вооруженных действий в Чечне. Помнить считается необходимым ради сопричастности к чеченскому социуму, желании продолжить жить в памяти нахского народа. Как правило, респонденты разделяют убеждение о том, что они были фактически объявлены внутренним врагом дважды — в 1944 г. и в 1994 г., а враг, по их словам, был если не столько внешним, сколько *Другим*.

### **Образ внешнего врага**

Наряду с изменениями политики памяти в России трансформировалась и очевидная на первый взгляд функция войны — защита от внешнего врага. В постсоветское время внешний враг необязательно оказывался таковым на самом деле. Несмотря на доминирующие в научной литературе политические мотивы конфликта в Чечне как «сражении на поле битвы глобального джихада» (*Souleimanov, Ditych* 2008: 1202), нарративы об участии внешних исламистских группировок не проясняли ни понимание самого образа врага, ни его общие контуры. Напротив, в период второго

этапа чеченского конфликта (сразу после финансового кризиса 1998 г.) средства массовой информации начали тиражировать такие определения врага, как «террорист», «чеченский бандит», «исламист», «исламский наемник» и др.

Впоследствии подобные лексические единицы закрепились в массовой культуре и способствовали отождествлению «лиц кавказской национальности» с чеченцами. Этому в значительной степени способствовала масскультурная продукция середины 1990-х гг., которая содержала бытования понятий «война» и «враг», наглядно демонстрировала и иной раз навязывала восприятие образов «чужих» / «других» и «своих». При этом чаще остальных культивировался враждебный образ чеченцев, против которых ведутся военные действия. Для определенного сегмента россиян (государственно-политический конструкт, предложенный после распада СССР) в то время — особенно для военнослужащих, направленных в Чечню, — непосредственный прямой противник. Так или иначе, это *Другой* статус, нежели образ врага.

Сразу после прекращения активных боевых действий на территории Чечни в 2000 г. этот конфликт стали называть «гибридной войной» с применением федеральным центром различных скрытых методов подавления противоборствующей стороны посредством диверсий, скрытых операций и даже кибервойны. В этом контексте интересны выводы Уильяма Дж. Немета, выпускника Школы повышения квалификации офицерских кадров ВМС США (*Naval Postgraduate School*) 2002 г.:

«Чечня — пример сетевого общества, принимающего вызовы, спровоцированные репрессиями извне. Ненависть к угнетателям является неотъемлемой частью их идентичности и обеспечивает сплоченность общества, которое имеет тенденцию ослабевать в условиях отсутствия внешней угрозы» (Nemeth 2002: 69).

Привлечение внимания к некоему врагу, не являвшемуся непосредственным выходцем из двух конфликтующих сторон, то есть образа «чужого», стало характерной чертой второго этапа внутреннего вооруженного конфликта в Чечне. Безусловно, чеченский конфликт побудил многих иностранных наемников включиться в ход боевых действий. Как отмечает Дж. Немец, «...многие, кажется, оказались выходцами из бывшего Советского Союза. Поступают сообщения о британцах, китайцах, французах, а также русских, украинцах, женщинах-снайперах («белых чулках») из стран Балтии и армянских христианах» (Nemeth 2002: 60). Как показал процесс сбора интервью в рамках данного исследования, только в одном записанном нарративе косвенно подтверждается участие специально подготовленных женщин-снайперов. По словам респондента, участвовавшего в штурме Грозного зимой 1994 г., он даже смог ликвидировать такую женщину:

«...Да, были снайпера-женщины. Одну видели. <...> Ну, возраст... наверное, тогда ей было лет около 40. Документов не смотрели, потому что их не видно было. Ну, как рассказывали, что это, в основном, все спортсменки, в основном с Прибалтики, биатлонистки» (Goryushina 2019: 257).

Однако следует обратить внимание на то, что респондент использует фразу «ну, как рассказывали, что это, в основном, все спортсменки...». Таким образом, он ссылается на информацию из третьего источника, утверждая при этом, что документов сам лично не видел, «потому что их не видно было».

Возвращаясь к феномену участия многочисленных наемников из мусульманских стран, следует обратиться к мировым англоязычным таблоидам, активно публиковавшим материалы по Чечне в 1999–2001 гг. Так, американская ежедневная газета *The Washington Post* от 12 октября 1999 г. выразила скепсис относительно того, что «арабские боевики, связанные с бывшим режимом талибов и (или) Усамой бен Ладеном, а также мусульмане из Азербайджана, Нигерии и Судана, воевали в Чечне» (*The Washington Post* 1999). Такой же позиции придерживается *The New York Times* от 9 декабря 2001 г. (*The New York Times* 2001), правда, с ключевым отличием — публикация фактически подтвердила новый статус конфликта в Чечне, который после 11 сентября 2001 г. официально превратил его в один из плацдармов глобальной войны с терроризмом. «Несмотря на российские заявления о присутствии [в Чечне] иностранных бойцов, только четверо захваченных оказались иностранцами, среди которых один был выходцем из Ирака с подданством Дании, что официально было подтверждено властями» (*The Economist* 2000), — писало издание *The Economist* в июле 2000 г.

По этому поводу показательны отдельные моменты в нарративах респондентов, принявших участие в обоих этапах вооруженного конфликта в Чечне. На просьбу назвать и описать образ врага респонденты, выступившие на стороне федерального центра, утверждали, что это были «боевики, моджахеды, как хочешь, их называй, духи...»<sup>1</sup> Респондент уверенно делится своими воспоминаниями об участии наемного интернационала именно с 1999 г., впрочем, сам же и делает оговорку, что «во вторую мы воевали, в основном, с местными почему-то, они попадались»<sup>2</sup>. «Я не видел [арабов], я врать не буду, потому что все, что мы убивали всю вот эту <...>, что мы видели, в основном чеченцы, а там бог его знает. Они все волосатые, бородатые, не поймешь. Особенно вот сюда уже ближе к концу, когда у них международная исламизация пошла, не стригутся они, не бреются, ничего нельзя им...»<sup>3</sup>

Тот же самый респондент отмечает, что начало второго этапа конфликта в Чечне характеризуется «здоровыми экипированными мужиками», с которых было что снять для личного пользования. Однако уже после 2005–2006 г. ситуация коренным образом изменилась, и «пошли нищие: пацанва, малолетки. И тренировочный костюм на них, ремень солдатский с подсумком или двумя брезентовыми, обычными штатными, и автомат Калашникова... и все, они пустые. Ни ботинок хороших не было, ни разгрузок»<sup>4</sup>. Точка зрения данного респондента подтверждается многими устными свидетельствами чеченцев-респондентов. Они отмечают уменьшение количества

<sup>1</sup> Из интервью с респондентом N. Место проведения: г. Ростов-на-Дону. Продолжительность 110 минут. Запись: 13 ноября 2017 г. Хранится в архиве проекта РФФ «Войны и население юга России в XVIII – начале XXI в.: история, демография, антропология» (17-18-01411).

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Там же.

<sup>4</sup> Там же.



хорошо экипированных боевиков примечательной внешности после 2002 г., что вполне объяснимо завершением активной фазы боевых действий в 2000–2001 г., повлекшей за собой минно-фугасную войну без значительного задействования внутренних войск РФ.

В обобщенном виде проанализированные интервью показывают наличие в то время небольших групп наподобие незаконных вооруженных формирований, преследовавших не столько участие в войне за идею в 1999–2009 гг., сколько цели бытового характера, выражающиеся в обогащении, защите семей, противостоянии разграблению собственного имущества. Подавляющая часть респондентов заключает, что с приходом А.-Х. Кадырова к власти ситуация в Чечне резко изменилась, после чего и последовал спад внешнего притока боевиков в республику. «Я собрал вокруг себя ребят, человек пять-шесть, зависело от многих причин...<...> у меня были связи, деньги, оружие. Я знал, к кому пойти, кому что сказать, ко мне приходили, спрашивали. Меня находили, я находил, кого надо. Мы выживали. Мы были заняты выживанием. Я знал только одно: я не хотел, чтобы “чужие” пришли и забрали мою семью, мою мать, моего отца <...> многие просто не понимали, что их обманывали, что за легкими деньгами следовал обман! Что работать на вахаббитов ради денег, ради того, чтобы выжить, – идиотизм!»<sup>1</sup> — говорится в одном из интервью с чеченцем-респондентом.

Британский политолог Анатолий Ливен настаивает на тезисе, согласно которому чрезвычайно активное использование политической роли религии в довоенной Чечне было попыткой фактического брендинга чеченских сепаратистов под логотипом мусульманских фундаменталистов. Ливен пишет о тройственной роли брендинга, которое позволяло обратиться к западной аудитории, провозгласив войну в Чечне настоящим крестовым походом против общего исламского врага. При этом наглядно демонстрируя, что чеченское общество не способно к нациестроительству и развитию национальной идентичности до уровня независимого государственного образования. Ливен делает справедливую оговорку относительно религиозной пропаганды, которая «ввела [чеченцев] в заблуждение вследствие их примитивизма» (Lieven 2000: 155) с той лишь целью, чтобы они действовали вопреки своим собственным интересам.

Продолжая ту же линию рассуждения, следует привести фрагмент из еще одного интервью, в котором чеченец-респондент утверждает, что «Чечня стала донором всей российской политики, за это время избирателю показали врага, олигархи разграбили за это время, потом проснулись — было поздно...»<sup>2</sup>

Анализ расшифрованных устных свидетельств респондентов подтверждает наличие мемориального конструкта о войне, навязанной со стороны (зачастую в ответах респондентов звучат слова «сверху» и «государство спустило»), и, значит, навязанном враге. Есть устные свидетельства, которые апеллируют к дистанции между теми, кто «пришел с войной», «воевал против тех, кто пришел с войной» и простым

<sup>1</sup> Из интервью с респондентом N. Место проведения: г. Москва. Продолжительность 128 минут. Запись: 14 декабря 2019 г. Хранится в личном архиве автора.

<sup>2</sup> Из интервью с респондентом N. Место проведения: г. Ростов-на-Дону. Продолжительность 107 минут. Запись: 15 апреля 2019 г. Хранится в личном архиве автора.

населением, которому ничего другого не оставалось, кроме как лицом к лицу столкнуться с войной:

«Люди, которые не имели никакого отношения ни к политике, ни к независимости, ни к идеям...<...> простые парни-ополченцы были <...> стихийно мобилизованы, они сами вышли, потому что если ты выйдешь, мне тоже надо идти. Плюс, если все идут, надо идти, с класса все пошли... на войну если... То есть, это естественная нормальная реакция в любом народе, любой стране, если спровоцируют. Если видят танковую армаду, самолеты, армию если ввели, то тут уже просто дело не в Дудаеве!»<sup>1</sup>

Отвергаемая линия коллективного сочувствия чеченскому народу как многострадальному, отчетливо прослеживаемая в работе Тишкова, вызывает яркие чувства у респондентов, находящихся в самой Чечне. Во многих интервью они повествуют о том, как простые люди продавали ковры, любые материальные ценности во время «первой чеченской» ради того, чтобы купить оружие, или просто чтобы прокормиться. Этот нарратив наталкивается на популярный конструкт об избытке оружия на территории Чечни в 1991–1994 гг., которое добывалось несколькими способами: путем хищения со складов Министерства обороны РФ, либо подбора оставленного в результате ухода федеральных войск, закупки и «гуманитарной помощи» из-за рубежа, кустарного производства.

Если во время первого этапа внутреннего вооруженного конфликта в Чечне формировался образ *Другого* — воюющего чеченца-сепаратиста, то уже во время второго этапа конструировался целостный образ внешнего *Иного* врага, который прочно ассоциируется у респондентов не с местным населением.

«Чем отличается первая чеченская война от второй? Первую военные не проиграли, ее проиграли политики»<sup>2</sup>.

Так или иначе, воспоминания об участии некоего третьего актора в чеченском конфликте, чуждому и чеченскому и русскому социуму, напротив, выполняют объединяющую роль. В большинстве интервью обрисовываются контуры общего врага, однако никто из респондентов не идентифицирует его, кто он именно – некий русский, или некий чеченец. Враг — *Другой*.

## Выводы

Изучение индивидуальной и коллективной памяти о внутреннем вооруженном конфликте в Чечне наталкивается на непримиримые нарративы некогда воевавших друг с другом сторон.

Стигматизация чеченцев и ингушей в 1944 г. стала центральным элементом коллективной памяти об историческом прошлом в контексте недавних вооруженных

---

<sup>1</sup> Из интервью с респондентом N. Место проведения: г. Ростов-на-Дону. Продолжительность 118 минут. Запись: 24 апреля 2019 г. Хранится в личном архиве автора.

<sup>2</sup> Из интервью с респондентом N. Место проведения: г. Москва. Продолжительность 94 минуты. Запись: 27 июля 2019 г. Хранится в личном архиве автора.

действий в Чечне. Помнить считается необходимым ради сопричастности к чеченскому социуму, желании продолжить жить в памяти нахского народа. Как правило, респонденты разделяют убеждение о том, что они были фактически объявлены внутренним врагом дважды — в 1944 г. и в 1994 г., а враг, по их словам, был если не столько внешним, сколько *другим*.

Изучение памяти о внутреннем вооруженном конфликте в Чечне выявил несколько характерных черт.

1. Сбор устных свидетельств среди респондентов был затруднен, что обусловлено опасениями за возможное преследование вследствие высокой политизации конфликта и его последствий. Как показали интервью, существует негласное «замалчивание» памяти. Чаще всего своими воспоминаниями делились мужчины-респонденты, так как в кавказских обществах мужчинам предоставлена большая «привилегия рассказывать свою историю» (Assman 2019: 47).

2. Нежелание респондентов именовать вооруженные действия 1994–1996 гг. и 1999–2009 гг. чеченскими кампаниями, подчеркивая на бытовом уровне принципиальное значение слова «война».

3. В большинстве устных свидетельств наиболее часто упоминаемым событием стал зимний штурм чеченской столицы в 1994 г., при этом последующие военные действия интерпретируются как антипод «быстрой победоносной войны». О зимнем штурме рассказывают даже те, кто не находился в Грозном непосредственно зимой 1994 г., что свидетельствует о символическом значении наступления федеральных войск.

4. Другим символическим элементом памяти стала стигматизация чеченцев и ингушей в 1944 г. Респонденты чеченской национальности чаще всего связывают объявление их «врагами народа» с тем, что произошло уже после распада СССР, и рассматривают внутренний вооруженный конфликт в Чечне в качестве продолжения репрессивных мер, начатых еще при Сталине.

5. Память о депортации 1994 г. для чеченцев-респондентов считается чрезвычайно важной, она обеспечивает сопричастность к чеченскому социуму. Одновременно события депортации увязывают нарратив о недавнем вооруженном конфликте с Великой Отечественной войной, которая для респондентов акцентирована на единственной дате — 1944 г. Они разделяют отсутствие сопричастности к Великой Победе 1945 г.

6. Большинство чеченцев-респондентов отмечают исключительно политические цели развязывания войны в Чечне.

7. Воспоминания отдельных респондентов демонстрируют острую социальную значимость до сих пор не преодоленных последствий военных действий, в том числе связанных с выплатами компенсаций за утраченное в ходе военных действий жилье и имущество на федеральном уровне. По свидетельствам чеченцев-респондентов, на республиканском уровне дело обстоит иначе.

8. Во время первого этапа внутреннего вооруженного конфликта в Чечне формировался образ другого — воюющего чеченца-сепаратиста. С 1999 г. начал конструироваться целостный образ внешнего иного врага, ассоциирующийся в нарративах респондентов с «чужими», «пришлыми».

В настоящее время память о вооруженном конфликте в Чечне подвержена значительному влиянию медийной экологии, где «избыток информации и доступ к ней посредством социальных сетей по-новому устанавливают взаимоотношения с прошлым» (Assman 2019: 180). В результате цифровая эпоха оборвала привязку памяти о чеченском конфликте к идентичности, сделав память о нем, с одной стороны, общедоступной, а, с другой — нивелировала необходимость обращения к устным свидетельствам. В конце прошлого года, 31 декабря 2019 г. исполнилось четверть века со дня штурма Грозного. Лишь немногие СМИ опубликовали полные или сокращенные свидетельства очевидцев событий того периода.

### Библиография:

- Achkasov, Valerij. (2013). "Politika pamjati" kak instrument stroitel'stva postsocialisticheskikh nacij [from Rus.: "Politics of memory" as an instrument for building post-socialist nations]. *Zhurnal sociologii i social'noj antropologii* 16(4): 106–123.
- Ashplant, Timothy G., Dawson, Graham, Roper, Michael. (2017). The politics of war memory and commemoration: contexts, structures and dynamics. *Commemorating War*. London: Routledge, 3–86.
- Assman, Alejda. (2019). *Zabvenie istorii – odezhimost' istoriej* [from Rus.: Oblivion of history – obsession with history.]. Moskva: Novoe literaturnoe obozrenie.
- Banner F. (2006). Uncivil wars: 'Suicide bomber identity' as a product of Russo-Chechen conflict. *Religion, State & Society* 34(3): 215–253.
- Bernhard, Michael H., Kubik, Jan (ed.). (2016). *Twenty years after communism: The politics of memory and commemoration*. Oxford: Oxford University Press.
- Bernstein, Seth. (2016). Remembering war, remaining Soviet: digital commemoration of World War II in Putin's Russia. *Memory Studies* 9(4): 422–436.
- Bodnar, John E. (1991). *Remaking America: Public Memory, Commemoration, and Patriotism in the twentieth century*. Princeton: Princeton University Press.
- Bol'shoj Kavkaz. (2013). «Diskriminacionnaja kompensacija dlja russkikh iz Chechni». Interv'ju zamestitelja predsedatelja asociacii bezhencev iz Chechni «Sootechestvennik» O. Makoveeva [from Rus.: "Discrimination against Russians from Chechnya". Interview with the Deputy Chairman of the Association of Refugees from Chechnya "Compatriot" O. Makoveev] *Bol'shoj Kavkaz*, 18 July, <http://www.bigcaucasus.com/review/interview/18-06-2013/83757-makoveev-0/> (accessed 21 January 2020)
- Bordjugov, Gennadij (ed.). (2015). *Pobeda-70: rekonstrukcija jubileja* [from Rus.: Victory-70: reconstruction of the anniversary]. Moskva: AIRO-XXI.
- Boutros-Ghali, Boutros. (1992). An agenda for peace: Preventive diplomacy, peacemaking and peace-keeping. *International Relations* 11(3): 201–218.

- Burganova, Larisa, Kornilov, Petr. (2003). Rekonstruirovanie struktury obraza voennogo konflikta (po materialam SMI) [from Rus.: Reconstructing the image structure of a military conflict (based on media sources)]. *Sociologicheskie issledovanija* 6: 56–63.
- Cairns, Ed, Roe, Michael. (2003). *Role of Memory in Ethnic Conflict*. London: Palgrave Macmillan.
- Campana, Aurélie. (2012). The Chechen memory of deportation: from recalling a silenced past to the political use of public memory. *Public Memory, Public Media and the Politics of Justice*. London: Palgrave Macmillan: 41–162.
- Cornell S. The War Against Terrorism and the Conflict in Chechnya: A Case for Distinction. In: Fletcher Forum of World Affairs, Vol. 27, no 2, p. 167–184.
- Danilova, Natal'ja. (2005). Memorial'naja versija Afganskoj vojny (1979-1989 gody) [from Rus.: Memorial version of the Afghan war (1979-1989)]. *Neprikosnovennyj zapas* 2(3): 40-41.
- Danilova, Nataliya. (2014). Victims and heroes: commemorating the Russian military casualties in the Chechen conflicts. *Chechnya at War and Beyond*, London: Routledge, 58–75.
- Devine-Wright Patrick. (2003). A theoretical overview of memory and conflict. In *The Role of Memory in Ethnic Conflict*, Cairns, Ed & Roe, Michael (eds). London: Palgrave Macmillan, 9–33.
- Engelhardt, Tom. (2007). *The end of victory culture: Cold war America and the disillusioning of a generation*. Amherst: University of Massachusetts Press.
- Forum pereselencheskih organizacij. (2019). SPCh o merah gospodderzhki vynuždennym pereselencam iz Chechenskoj Respubliki. Mezhdunarodnoe obshhestvennoe dvizhenie sodejstvija migrantam i ih ob#edinenijam “Forum pereselencheskih organizacij” [from Rus.: HRC on measures of state support to internally displaced persons from the Chechen Republic. International Public Movement for Assistance to Migrants and Their Associations “Forum of Migration Organizations”]. *Forum pereselencheskih organizacij*, 3 August, <https://migrant.ru/vazhnoe-spch-o-merax-gospodderzhki-vynuždennym-pereselencam-iz-chechenskoj-respubliki/> (accessed 23 January 2020)
- Fussell, Paul. (1975). *The Great War and modern memory*. Oxford: Oxford University Press.
- Gammer, Moshe. (2002). Nationalism and history: rewriting the Chechen national past. In *Secession, history and the social sciences*, Coppieters, Bruno, Michel Huysseune, Michel (eds.). VUB Brussels University Press: 117–140. <http://poli.vub.ac.be/publi/orderbooks/secession/secession-04.pdf> (accessed: 14 January 2020).
- Goryushina, Evgeniya (2019). Rjadovoj besslavnoj vojny: interv'ju s uchastnikom zimnego shturma Groznogo 1994 g. [from Rus.: A Private of the Inglorious War: an Interview with a Participant in the Winter Assault of the Grozny in 1994]. *Novoe proshloe/The New Past* 1: 238–268.
- Hölscher, Tonio. (2006). The transformation of victory into power: from event to structure. In *Representations of war in ancient Rome*, Dillon, Sheila, Welch, Katherine E. (eds.), Cambridge: Cambridge University Press, 27–48.
- Hutchings, Stephen, Rulyova, Natalia (2008). Commemorating the past/performing the present: Television coverage of the Second World War victory celebrations and the (de) construction of Russian nationhood. *The Post-Soviet Russian Media*. London: Routledge, 153–172.
- Irwin-Zarecka, Iwona. (2017). *Frames of remembrance: The dynamics of collective memory*. London: Routledge.
- Ivanov, Aleksandr et al. (2003). Psihologicheskie posledstvija uchastija voennosluzhashhih v boevyh dejstvijah v Chechenskoj respublike i ih mediko-psihologo-social'naja korekcija [from Rus.: The psychological consequences of the participation of military personnel in hostilities in the Chechen Republic and their medical, psychological and social correction.]. *Konsul'tativnaja psihologija i psihoterapija* 11(4): 146–162.

- Izvestija. (2008). V Chechne vozobnovljajutsja vyplaty za utrachennoe v hode vojny zhil'e i imushhestvo [from Rus.: Payments for housing and property lost during the war resume in Chechnya]. *Izvestija*, 23 January, <https://iz.ru/news/416935> (accessed 22 January 2020)
- Jensen, Sune Qvotrup. (2011). Othering, identity formation and agency. *Qualitative studies* 2(2):63–78.
- Kansteiner, Wolf. (2002). Finding meaning in memory: A methodological critique of collective memory studies. *History and theory* 41(2): 179–197.
- Köllner, Tobias. (2013). Ritual and commemoration in contemporary Russia: State-church relationships and the vernacularization of the politics of memory. *Focaal* 67: 61–73.
- Kommersant Vlast'. (1999). Pobeda za gorami [from Rus.: Victory is not just around the corner]. *Kommersant# Vlast'* 42, 26 October victory is just around the corner <https://www.kommersant.ru/doc/16083> (accessed 23 January 2020)
- Lawson, Stephanie, Tannaka, Seiko. (2011). War memories and Japan's 'normalization' as an international actor: A critical analysis. *European Journal of International Relations*. 17(3): 405–428.
- Lenta.Ru. (2015). «Esli Rossija oslabnet, to zapylaet ves' Kavkaz». Interv'ju S. Shahraja [from Rus.: "If Russia weakens, the whole Caucasus will burn." Interview S. Shakhrai]. *Lenta.Ru*, 24 December, <https://lenta.ru/articles/2015/12/24/shahrai/> (accessed 26 January 2020)
- Lieven, Anatol. (2000). Nightmare in the Caucasus. *Washington Quarterly* 23(1): 145–159.
- Liu, James H., et al. (2009). Representing world history in the 21st century: The impact of 9/11, the Iraq war, and the nation-state on dynamics of collective remembering. *Journal of Cross-Cultural Psychology* 40(4): 667–692.
- Maercker, Andreas, et al. (2009). Is acknowledgment of trauma a protective factor? The sample case of refugees from Chechnya. *European Psychologist* 14(3): 249–254.
- Malishevskij, Nikolaj. (2015). Anglojazychnaja istoriografija vooruzhjonogo konflikta v Chechne [from Rus.: The English-language historiography of the armed conflict in Chechnya]. *Problemy nacional'noj strategii* 5: 224–249.
- Monaghan, Andrew. (2008). 'An enemy at the gates' or 'from victory to victory'? Russian foreign policy. *International Affairs* 84(4): 717–733.
- Nemeth, William J. (2002). *Future war and Chechnya: a case for hybrid warfare*: thesis. Monterey, California. Naval Postgraduate School.
- Obradović, Sandra. (2016). Don't forget to remember: Collective memory of the Yugoslav wars in present-day Serbia. *Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology* 22(1): 12–18.
- Olick, Jeffrey K., Robbins, Joyce. (1998). Social memory studies: From "collective memory" to the historical sociology of mnemonic practices. *Annual Review of sociology* 24(1): 105–140.
- Osmaev, Abbas. (2010). Obshhestvenno-politicheskaja i povsednevnaia zhizn' Chechenskoj Respubliki v 1996-2005 gg.: dis. – avtoreferat dissertacii [from Rus.: Socio-political and everyday life of the Chechen Republic in 1996-2005: dis. – doctor dissertation abstract]. Mahachkala.
- Paez, Dario, H. Liu, James H. (2011). Collective memory of conflicts. *Intergroup conflicts and their resolution: A social psychological perspective* 105–124.
- Ram, Harsha. (1999). *Prisoners of the Caucasus: Literary myths and media representations of the Chechen conflict*. Berkeley: University of California.
- Rosbalt. (2014). "Tam my russkie, zdes' – chechency" [from Rus.: "There we are Russians, here are the Chechens"]. Rosbalt, 20 January, <https://www.rosbalt.ru/piter/2014/01/20/1223315.html> (accessed 22 January 2020)

- Rostovcev, Evgenij, Sosnickij, Dmitrij. (2014). Napravljenija issledovanij istoricheskoj pamjati v Rossii [from Rus.: Research directions of historical memory in Russia]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Istorija 2*: 106–126.
- Russell, John. (2005). Terrorists, bandits, spooks and thieves: Russian demonisation of the Chechens before and since 9/11. *Third World Quarterly* 26(1):101–116.
- Sachs, Jonah. (2012). *Winning the story wars: Why those who tell (and live) the best stories will rule the future*. Boston: Harvard Business Press.
- Savin, Sergey, Kasabutskaya, Margarita. (2019). Historical Memory of Ethno-Confessional Conflicts in Russia. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Istorija* 64 (3): 1097–1113.
- Schuman, Howard, Scott, Jacqueline. Generations and collective memories. *American sociological review* 359–381.
- Senjavskij, Aleksandr, Senjavskaja, Elena. (2009). Vtoraja mirovaja vojna i istoricheskaja pamjat': obraz proshlogo v kontekste sovremennoj geopolitiki [from Rus.: World War II and historical memory: the image of the past in the context of modern geopolitics]. *Vestnik MGIMO Universiteta*. 4: 1–32.
- Severnij Kavkaz v sostave Rossijskoj imperii. (2007). Bobrovnikov, Vladimir et al. (eds.) Moskva: Novoe literaturnoe obozrenie.
- Shnirelman, Viktor. (2006). A revolt of social memory: the Chechens and Ingush against the Soviet historians. *Reconstruction and interaction of Slavic Eurasia and its neighboring worlds*: 273–307.
- Shnirelman, Viktor. (2016). Social'naja pamjat' i obrazy proshlogo [from Rus.: Social memory and images of the past]. *Novoe proshloe /The New Past* 1:100–129.
- Shurmina, Natal'ja. (2019). Aleksej Miller – o sovremennyh tendencijah v politike pamjati [from Rus.: Alexey Miller – about current trends in the politics of memory]. *Prezidentskij centr Borisa El'cina* [from Rus. Presidential Center of Boris Yeltsin], 25 October, <https://yeltsin.ru/news/aleksej-miller-o-sovremennyh-tendenciyah-v-politike-pamyati/> (accessed 10 January 2020).
- Sikevich, Zinaida. (2017). Jetnicheskaja identichnost' russkih i chehencev v kontekste istoricheskoj pamjati (sravnitel'nyj analiz) [from Rus.: Ethnic identity of Russians and Chechens in the context of historical memory (comparative analysis)]. *Vlast'* 2:122–129.
- Simunovic, Pjer. (1998). The Russian military in Chechnya – A case study of morale in war. *The Journal of Slavic Military Studies* 11(1): 63–95.
- Sokirianskaia E. (2007). Ideology and conflict: Chechen political nationalism prior to, and during, ten years of war. *Ethno-Nationalism, Islam and the State in the Caucasus*, London: Routledge, 120–156.
- Souleimanov, Emil, Dityrch, Emil, Ondrej. (2008). The internationalisation of the Russian–Chechen conflict: myths and reality. *Europe-Asia Studies* 60(7): 1199–1222.
- Spillman, Lynette P. (1997). *Nation and Commemoration: Creating National Identities in the United States and Australia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Strel'nikova, Anna. (2011). Kollektivnaja pamjat' v gorodskom prostranstve: mesta pamjati ob Afganskoj vojne. [from Rus.: Collective memory in urban space: places of memory of the Afghan war]. *Interakcija. Interv'ju. Interpretacija* 5(6): 118–125
- Svjatoslavskij, Aleksej. (2013). *Istorija Rossii v zerkale pamjati. Mehanizmy formirovanija istoricheskikh obrazov* [from Rus.: The history of Russia in the mirror of memory. Mechanisms for the formation of historical images] Moskva: Drevlehranilishhe.
- The Economist. (2000). Are foreigners fighting there? *The Economist*, 6 July, <https://www.economist.com/europe/2000/07/06/are-foreigners-fighting-there> (accessed 13 February 2020)

- The New York Times. (2001). War on Terror Casts Chechen Conflict in a New Light. *The New York Times*, 9 December, <https://www.nytimes.com/2001/12/09/world/war-on-terror-casts-chechen-conflict-in-a-new-light.html> (accessed 12 February 2020)
- The Washington Post. (1999). Muslims From Afar Join Fight in Chechnya. *The Washington Post*, 12 October, <https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1999/10/12/muslims-from-afar-join-fight-in-chechnya/3e274d3c-3bb1-4c71-8086-bfd5a0af128c/> (accessed 12 February 2020)
- Tishkov, Valerij. (2001). *Obshestvo v vooruzhennom konflikte (jetnografija chechenskoj vojny)* [from Rus.: Society in armed conflict (ethnography of the Chechen war)]. Moskva: Nauka.
- Tishkov, Valerij. (2008). Jetnografija chechenskoj vojny [from Rus.: Ethnography of the Chechen war]. *Rossija i musul'manskij mir* [from Rus.: Russia and the Muslim world] 3: 63–81.
- Tishkov, Valerij. (2004). *Chechnya: Life in a War-Torn Society* (California Series in Public Anthropology). Berkeley: University of California Press.
- Vesti.Ru (2013). President Putin compared the Nazis with the terrorists. *Vesti.Ru*, 2 February, <https://www.vesti.ru/doc.html?id=19606&tid=12087> (accessed 18 January 2020).
- Wagoner, Brady, Bresc , Ignacio. (2016). Conflict and memory: The past in the present. *Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology* 22(1): 3–4.
- Wertsch J. V. et al. (2002). *Voices of collective remembering*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wertsch, James V. (2008). Blank spots in collective memory: A case study of Russia. *The annals of the American academy of political and social science* 617(1): 58–71.
- Williams, Brian Glyn. (2000). Commemorating “the deportation” in post-Soviet Chechnya: the role of memorialization and collective memory in the 1994–1996 and 1999–2000 Russo-Chechen Wars. *History & Memory* 12(1): 101–134.
- Winter, Jay Murray. (2006). *Remembering war: The Great War between memory and history in the twentieth century*. New Heaven: Yale University Press.
- Wood, Elizabeth A. (2011). Performing memory: Vladimir Putin and the celebration of World War II in Russia. *The Soviet and Post-Soviet Review* 38(2):172–200.